



А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ

«Благонамеренные речи», г. Щедрина
«Отечественные записки», 1875 г., 10 кн.

<Фрагменты>

Благонамеренные речи г. Щедрина, под специальным заглавием — *Семейный суд*, в значительной степени отличаются, по своему содержанию, от всех тех обычных мотивов, какие разрабатывает сатира г. Щедрина и какие мы видели во всех предыдущих *Благонамеренных речах* его. Перед нами пародируют здесь уже не помпадурсы, ташкентцы, дельцы, плутократы, адвокаты и тому подобные герои современности; это уже не общественная сатира, бичующая те новые язвы общества, которые назрели сегодня; нет, это бытовая повесть и, если хотите, историческая, потому что рисует нам нравы отжившего прошлого, которое хотя бы сделалось прошлым не далее как вчера, но все-таки успело уже вступить в пределы истории. Здесь на первом плане играет роль уже не та едкая соль остроумной, меткой насмешки и карикатурного выставления напоказ наиболее смешных сторон жизни, одним словом, не те качества сатиры г. Щедрина, к которым мы привыкли; нет — здесь перед вами мастерской очерк типов отжившего прошлого, глубокий, психический анализ, а сатиру, в тесном значении этого слова, заменяет горький юмор, переходящий под конец в потрясающий трагизм весьма своеобразного характера. Одним словом, г. Щедрин в этой повести — словно совсем другой. Щедрин здесь открывает перед нами новые и нетронутые до сих пор стороны своего таланта. Одним это нравится; другие, желающие, чтобы г. Щедрин непрестанно затрагивал самые современные и сегодняшние мотивы жизни, находят, что повесть отстала от современности, по крайней мере, лет на пятнадцать или на двадцать, что от нее веет даже как-будто археологическою пылью.

Что касается до меня, то я скажу, что, конечно, в настоящей повести г. Щедрина затронут не сегодняшний мотив, и, конечно, очень

было бы жаль, если бы г. Щедрин перестал вдруг совсем затрагивать современные мотивы, а все стал бы писать подобные повести: перед нами был бы тогда совсем новый талантливый писатель, но мы потеряли бы г. Щедрина. Но, тем не менее, одна такая повесть в ряду всего, что написал и напишет г. Щедрин, не только не портит дела, а, напротив того, может представиться совершенно необходимым звеном во всей громадной цепи его произведений, и хотя, на первый взгляд, от повести г. Щедрина и веет чем-то археологическим, но нельзя сказать, чтоб она так уже вовсе и не имела самого живого современного значения. Так, всем известно, что в последнее время одним из самых заметных вопросов литературы представляется вопрос о так называемых культурных явлениях нашей жизни, т. е. таких явлениях, которые составляют суть русской жизни, русских нравов, без малейшей примеси чего-либо иноземного, навеянного со стороны. Повесть г. Щедрина, бесспорно, в том отношении и представляет весьма живой интерес, что бесхитростно изображает перед нами эти явления, в лице нескольких весьма типических представителей их, тем именно и замечательных, что, выросши на русской почве, они всецело, во всех малейших чертах своих нравов, олицетворяют исконные русские характерные явления, чуждые какой бы то ни было посторонней примеси. Прочитавши эту повесть, вы невольно воскликнете: «Вот настоящие-то русские люди, не идеализированные, не выдуманные, — вот они, живые, действительные представители того слоя, который принято у нас называть культурным; мы все бесспорно плоть от плоти их и кость от их костей». Не вдаваясь ни в какие дальнейшие рассуждения, я ограничусь только тем, что познакомлю своих читателей с главными чертами и местами повести г. Щедрина. Г. Щедрин ведет нас в глубь прошедшего, когда крепостное право стояло еще незыблемо, и ни о каких реформах не было еще и помину. Перед нами, одним словом, доброе старое время, и г. Щедрин рисует нам доброе старое русское семейство. Представительницей этого семейства является Арина Петровна Головлева¹ <...>.

Детей было у нее четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и о дочери она даже и говорить не любила, к младшему сыну была более или менее равнодушна и только среднего, Порфишу, не то чтобы любила, а словно побаивалась. Дочь была у нее в опале, потому что убежала с гусаром. Старший сын, Степан Владимирович, о котором, преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то

парии, не то шута. От отца он перенял неистоцимую проказливость, от матери — способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству, он скоро сделался любимцем отца, что еще более усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем, в особенности, доставалось «ведьме», т. е. Арине Петровне. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия: неслышно подъезжала к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное избиение Степки-балбеса. Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям, и через полчаса опять принимался куролесить: то косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями. «Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна, — убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!» Такое постоянное приращение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, надоедливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно — пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

«Средний сын, Порфирий Владимирович, известен был в семействе под тремя именами: иудушки, кровопивушки и откровенного мальчишки <...>»²

Младший сын, Павел Владимирович, был полнейшим олицетворением человека, лишённого каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком он не выказывал ни малейшей склонности ни к учению, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей.

<...>³

Младшие братья вышли, как это у нас обыкновенно говорится, в люди и пошли служить. Порфирий Владимирович служил по гражданской службе, Павел Владимирович — по военной; оба находились в Петербурге. Что же касается старшего брата, Степана, то из него, как и надо было ожидать, вышел человек во всех отношениях неудачный. Он долго переходил из одной канцелярии в другую, был даже в ополчении, но нигде не оказал ни наклонности к усидчивому труду, ни уживчивости. Арина Петровна решилась на крайнюю меру

по отношению его: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то же время должен был изображать и «родительское благословление». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей. Но Головлев оказался неспособным справиться и с этим «родительским благословлением»: он так легко привык обращаться со своими деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень не надолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно, и во время его ополченства «родительское благословление» было продано с молотка. Наступила минута, когда он, так сказать, очнулся лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование сделалось для него не по силам. Оставался один путь — Головлево. Этот путь Степана Владимировича в Головлево, равно как пребывание его в нем, и составляет главное содержание повести. Степан Владимирович ехал в родительскую усадьбу, как в могилу, вполне сознавая, что там ждет его верная смерть, о чем он и говорил своему спутнику — крепостному Ивану Михайловичу, принимавшему в нем то нежное участие, какое зачастую в старину оказывали крепостные к «постылым» господам. — Прощай, брат! говорил Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайловича: заест она меня! — Бог милостив! вы тоже уж не слишком пугайтесь! — Заест! повторяет Степан Владимирович таким убежденным тоном, что Иван Михайлович невольно опускает глаза. Арина Петровна и действительно заедает своего блудного сына, и делает она это вовсе не посредством каких-либо упреков, брани, поношений и истязаний. Даже при встрече она хоть бы слово вымолвила в упрек ему, — только смерила его с ног до головы ледяным взглядом. Затем его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Арина Петровна не принимала его; к отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Финогей Ипатыч объявил ему от маменьки «положение», заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежду и, сверх того, по фунту фалера в месяц. Вот и все. Чего же, казалось бы? Двери родительского дома растворились перед блудным сыном, он был приучен на всем готовом; но это-то и была именно могила. Потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой зияющей бездне времени. Жизнь его была жизнью абсолютной праздности, тем и отличаясь только от одиночного заключения, что он ежедневно виделся с одними и теми же двумя-тремя лицами в земской конторе,

да имел невозможную возможность удалиться из Головлева, если бы пожелал. Далее следует в повести мастерская, поразительная сцена семейного суда, заключающаяся в том, что Арина Петровна пригласила двух своих младших сыновей на совет, чтобы решить, как поступить со старшим их братом. У Арины Петровны пробудилось было что-то вроде человеческого чувства: она была готова бросить своему блудному сыну еще «кусок», в виде небольшой усадьбы, которая следовала ему по отцовскому наследству. Но Порфирий Владимирович так окружил ее своими лъстивыми речами, что она не только не сделала этого, но согласилась даже предложить Степану Владимировичу подписать полное отречение от всякого наследства. Простоватый и добродушный Степан Владимирович подписал без малейших колебаний все предложенные ему бумаги по отречению и остался доживать свой век на маменькином «положении». Это житье на маменькином положении впроголодь, в полном забвении и пренебрежении, медленное отупение в праздном одиночестве и окончательное спитие и составляют далее в повести картину, поражающую своим трагизмом. Ужасен вид этого живого существа, заживо погребенного на ничтожестве чисто животного прозябания, отвергнутого, забытого, однообразно влачащего дни за днями, без малейшей радости в настоящем, без малейшего ожидания чего бы то ни было в будущем. Представьте вы себе его в глухую осень, в непроходимой грязи вокруг усадьбы прислушивающегося к шуму ветра и плеску дождя в окна и будничному переругиванию дворовых на дворе.

«Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна по-прежнему не отпускала для него свечей <...>»⁴.

Далее следует страшная картина ночного пьянства и окончательного отупения Степана Владимировича, поразительная глубоким психическим анализом. К сожалению, я не имею возможности выписать это лучшее место в повести г. Щедрина. Ограничусь только тем, что, когда, в чадю своих хмельных грез, однажды Степан Владимирович вздумал бежать из усадьбы, Арина Петровна вспомнила о своем сыне и решила заглянуть в его комнатку. Вот в каком виде она нашла ее:

«Комната была грязна, черна, заслякощена, так-что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен; обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями; подоконники чернели под густым слоем табачной золы; подушки валялись на полу, покрытом липкой грязью: на кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была

выставлена или, лучше сказать, выдрана, а самое окно оставлена приотворенным; этим путем, очевидно, и исчез постылый».

Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уже ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дороги и поля — все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? Куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфель, из которых одна найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, непрерываючи шел дождь... И снова что-то человеческое зашевелилось в груди Арины Петровны. Она велела убрать его комнату, послала погоню за ним. Когда же его разыскали и воротили, она допустила его к своему чайному столу.

— И чем тебе худо у матери стало? — говорила она ему, — одет ты и сыт — слава Богу! И тепленько тебе, и хорошихонько... чего бы, кажется, искать? Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой, — на то и деревня! Весельев да балов у нас нет — и все сидим по углам да скучаем! Вот и я рада была бы поплясать да песни попеть, ан посмотришь на улицу, — и в церковь-то Божию в такую мокроть ехать охоты нет! — Арина Петровна остановилась, в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит, но балбес словно окаменел. — А ежели ты чем недоволен был, — кушанья, может быть, недостало или из белья там — разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там вотрушечки изготовить, — неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца, — ну, захотелось тебе винца, ну, и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки, — неужто матери жалко? А то натко: у раба попросить нестыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были все льстивые слова. Степан Владимирович не только не расчувствовался (Арина Петровна надеялась, что он ручку у нее поцелует) и не обнаружил раскаяния, но даже как бы ничего не слышал. Он перестал, наконец, совсем думать и безусловно замолчал. В декабре того же года он, наконец, покончил свое несчастное существование... Не правда ли, читатель, что тебе очень должны быть знакомы из твоих детских воспоминаний подобного рода черты нравов еще так недавно отжившего прошлого? Не правда ли, что черты эти составляют, бесспорно, истинные и беспримесные характерные явления нашей русской жизни, и, прочтя повесть г. Щедрина, читатель в праве воскликнуть: «Здесь Русь живет, здесь Русью пахнет!» Как же после этого всего говорить, что будто повесть г. Щедрина не имеет живого общественного значения.